

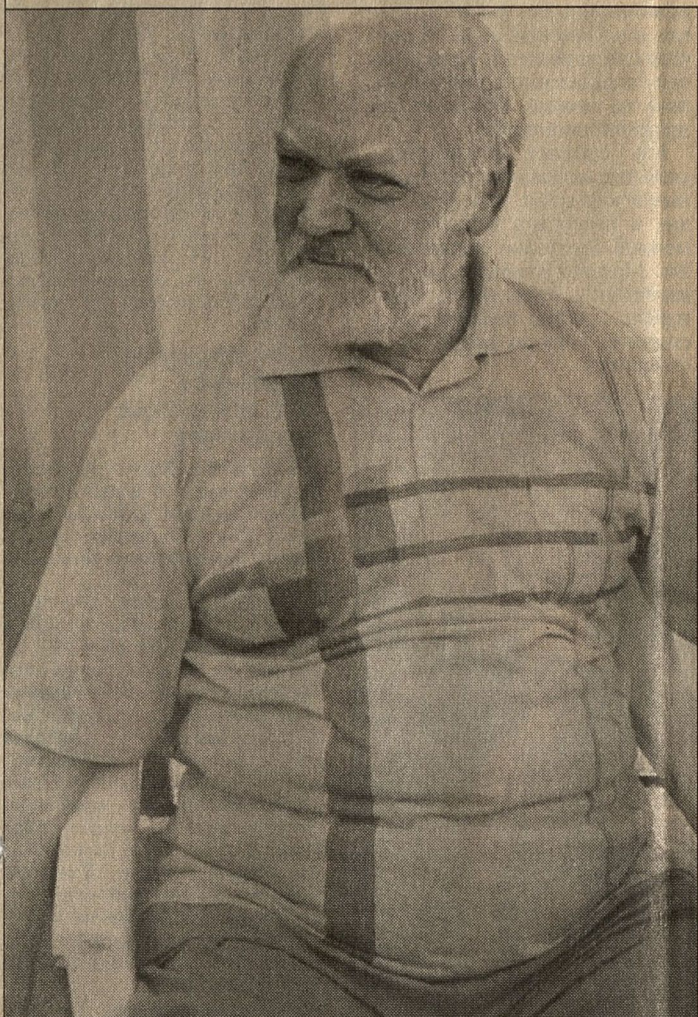
ЛИТЕРАТУРА
ПОЛИТИКА

Лев АННИНСКИЙ: МЫ ШАТАЕМСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ МЕРЗОСТЯМИ

Вет. Моен. В. - 2004 - 30 июля - с. 3.

Пренебрежение писателя критикой есть не что иное
как скрытое желание быть ею замеченной. Особенно
если критик этот — Лев Александрович Аннинский.

Нельзя сказать, что он доброжелателен, он скорее справедлив,
ибо видит явление (литературы ли, политики) насквозь.



Владимир КУЗОВ

Владимир КУЗОВ

— Лев Александрович, начнем, не мешкая, говорить «за детектив». Б. Акунин — это хорошо, или это хорошо по сравнению с Марининой?

— Правильный ход, что вы сравниваете его с Марининой, ибо и он, и Маринина — литература нового типа, словесность нового типа. Первая характеристика этой словесности такова: это не цикл романов или повестей, это — проект. Надо понять, что такое проект. Это определенного рода система возбуждения ожиданий публики и немедленного удовлетворения этих ожиданий. Вот что общего между Марининой и Акуниным.

— Но в слово «проект» вы вкладываете положительный или отрицательный смысл?

— Ни тот, ни другой, потому что это — не мое, мне это не интересно. Вернее, мне это интересно не так, как была интересна литература. Мне интересна была Маринина в той степени, в какой она — классный научный работник, разработчик методик для органов внутренних дел, бывшая их мозговым центром, спокойно излагает всю эту фактуру. И люди должны знать, как их будут убивать. Этим она занималась, это был ее проект. С чисто литературной точки зрения оценивать это глупо, потому что у нее другая эстетика, которую мы раньше занимались печатать, очеркистика, но журналисты делали это с совершенно другим уровнем наполнения правды, с зависимостью от советской власти, то есть со значительной долей лжи. А сегодня, когда стало возможным говорить правду о людях в форме, эта информация — герои, сюжеты и прочее — переключалась в детективы, и Маринина достаточно квалифицированно это делает. Почему меня не устраивает это у Марининой и у Акунина? Я объясню это с помощью самой Марининой — умной и сильной женщины. На одной из книжных ярмарок — кажется, во Франкфурте — ее спросили: «У вас 17 миллионов тираж, ни у кого из современных писателей такого нет. Скажите, пожалуйста, какое духовное послание вы адресуете этим 17 миллионам?» На что она ответила гениально: «Что я — Достоевский?» Все ясно: когда я чи-

таю Достоевского, мне открывается бездна, новые миры, новые повороты, я не знаю, что он мне ответит. Когда я читаю Маринину — я знаю, что она мне расскажет, она разбудила во мне именно это ожидание. То же самое делает Акунин, но он делает это блестяще, это — глянцева литература, которая сродни главному журналу. Кстати, критики в России — критики умные: первое, что они поняли, что это — глянцева словесность. И первые же отзывы об Акунине были в том плане, что это — лучшее из глянцевой словесности.

— Он себя, я думаю, считает выше Марининой.

— Неважно, что считает Акунин — он тоже назвал своим романом проектом, он в душе тоже понимает, что это — искуснейшая имитация.

— Имитация чего?

— Интереснейший вопрос. Во-первых, он переводчик с японского и с английского, блестяще образованный человек, по профессии математик. Он точно все рассчитывает. Кое-что я читал, подавляя скуку, а кое-что — без раздражения. Он, повторяю, великолепно все рассчитывает, не хуже Солженицына, который тоже — математик. Но Солженицын натывается на неразрешимые проблемы и как пророк раздирает на себе одежды, и я вместе с ним переживаю его неудачи. А у Акунина серьезных задач нет вообще.

— Какие же задачи он ставит?

— Он стилизует все, что угодно. Если он описывает роковую баб, то стилизует ее под Настасью Филипповну из «Идиота» Достоевского, если монахиню — то под «Манон Леско», причем делает это открыто. Он сразу говорит: я вам стилизую. Но на черта мне его стилизация, если у меня есть оригинал? Поскольку все это вышло, положим, из Конан-Дойла, то в конце главы героя должны убить. И его убивают. А в начале следующей главы объясняется, почему его не удалось убить. В первых трех романах я дивился изобретательности Акунина, а с пятого-шестого я начал скучать: эта монотонность убивает все. Так есть ли у Акунина сверхзадача? Говорить об этом всерьез и исследовать это я не могу. Немец написал статью, что это — плохая литература. Нет, это не

плохая литература. Это просто нелитература, это что-то другое...

Русская литература никогда не занималась изобретательностью, она пыталась понять, что такое человек, не ублажая потребителя. А вся эта словесность и рассчитана на потребителя. Уважаемая мною Маринина этому потребителю рассказывает, как ему убежать свое тело от убийц, а Акунин ублажает его рецептами: как играть в карты, как биться на дуэли и так далее. Акунин хорошо рассчитал, что возврат к капиталистической мифологии предполагает возврат к этим играм. Тоске потребителя по тому, можно ли потреблять то, что было запрещено, а теперь реабилитировано, Акунин отвечает: можно это потреблять, я тебе стилизую, а ты — потребляй.

— Так вы считаете, Лев Александрович, что ренессанс русской литературы связан с ностальгией?

— Наша литература пытается ожить, но не оживает. Она не знает, какие формы ей реабилитировать, сейчас идет ностальгия, но родились внуки, которым плевать на советское и антисоветское. Главная мерзость — это большевизм, но равная ей мерзость — антибольшевизм. Десять лет мы шатаемся между двумя этими мерзостями. Пришли молодые люди, которым все это до фаншики, до лампочки. Какой, спрашивают, Ленин? Как Наполеон, что ли? Или как Пугачев? На этой почве возникает какая угодно ностальгия, по чему угодно, потому что просто так жить, без всякой сверхзадачи, русский человек не может.

— Возвращение человека к Богу — это не сверхзадача?

— Это как бы возвращение к Богу. Наш безобразник обязательно при этом дергает Бога за бороду, он не может не безобразничать, не богохульствовать. Есть какая-то тяга что-то восста-

— Это так, и это понятно, но оно опережает еще и кинематограф — вот это не совсем ясно, почему. Студии расположены где-то в спальных районах, маленькие подвалы, но они — полные, народ идет туда и смотрит — вот это загадка. Да открой телевизор, уткнись в американский боевик, триллер — куда как приятней, казалось бы! Но народ пошел в театр, во всякий театр — хороший и плохой. Режиссеры выдвигаются кто как может, кто не может выдвигаться — просто рассказывает, что у него на душе, а народ аплодирует, идет снова. Что же происходит, какой пинг-понг идет через рампу? Ну, например, идет поставленный Калашниковым Шекспир. Не слишком приятный актер Козаков играет Шейлока, играет потрясающе. Но мне важно другое: когда суд присуждает этого Шейлока перейти в христианство, зал должен хохотнуть, и он хохотнул. Но кто-то продолжает хохотать, и это уже — антисемитский хохот. Спектакль как бы приостанавливается, а хохот продолжается! И мне интересен уже не спектакль, а кто хохотал, и сколько русского народу представлено этим хохочущим? А в литературе такой реакции сейчас нет: кто-то что-то напечатал, тираж 1,5 тысячи экземпляров, кто-то кому-то скажет: «Да, ничего текст, можно почитать». Можно и в Интернет заглянуть, но и он перегружен всякой всячиной до предела, поэтому народ не читает, или читает Маринину. Но это, увы, не учебник жизни. Поэтому и пошел народ в театр.

— Вы — критик, но ваши политические оценки всегда интересны. Как вы оцениваете эпоху Ельцина?

— О, господи! О, господи! — вот так я ее и оцениваю. В этой жуткой, дикой стране нужно было хомом вещей приобщиться к глобальным ценностям. Поэтому

смотрю просто: человек пытается укрепить государство, а я — государственный. Я — помещик-казака с евреем, но государственный по составу крови. Меня эта русская вольница не привлекает, потому что как только она настоящему начнется, Россия перестанет быть Россией, будет что-то другое. Путин пытается укреплять государство, и я ему сочувствую, потому что работа эта — не приведи Господь. Ни одной глупости он не сделал, не писал под колесо авиалайнера, как его предшественник, отказался пить в Чечне с офицерами и генералами. А ведь провоцируют его без конца! Сколькая была провокация, чудовищная — с «Курском». Произошло несчастье, и на этом несчастье НТВ паршивое делает политику: Путин не предусмотрел, Путин не поехал! Ну что это такое? И это все Путин должен был жрать. Попробуй быть человеком в этой ситуации! Я ему не завидую! Это страшные по непредсказуемости страна и ее народ.

— Поговорим о том городе, где мы беседуем с вами — о Москве. Какое место Москвы ваше любимое?

— Таких мест несколько. Я вырос на окраине, сейчас там почти ничего не осталось, это Потылиха, где Эйзенштейн снимал свои фильмы. Там стояли хибарки такие, бараки, теперь все снесли, проложили дорогу. Девять лет я прожил в доме у жены в Леонтьевском переулке, у церкви, где нет толпы, я полюбил и это место. Я очень люблю старую Москву — с Мавзолеем и Кремлем. Я устроен как французы: вначале, когда Эйфель построил башню, они возмущались, потом притерпелись, потом восхитились.

— Уж не намекаете ли вы на Храм Христа Спасителя в Москве?

— Именно на него и намекаю. Тон — человек героический, великодушный профессионал, настоящий немец, с этим талантом. Он сделал ожидаемое: как полагалось, так он и построил. Барма и Постник, сотворившие безумие на Красной площади, остались в веках. Поэтому что это безумие адекватно русскому безумию. А храм Христа Спасителя, извините, — школьное упражнение. Но это было кощунство — сносить храм, построенный на народные копейки. Тоновский храм я принимаю как мемориальное восстановление того, что было безобразно уничтожено.

— Ну а что вы скажете о творениях Церетели?

— Он сделал из Колумба Петра, все были возмущены, но я к Петру привык, как француз к Эйфелевой башне, и теперь, если увижу, что под Петра заложили взрывчатку, я немедленно позвоню в полицию. Стой — и не трогайте! Шлык — талантливый скульптор, много поставил хороших вещей, но вот его Жукова я готов снести. Это так неудачно, так чудовищно: на арабской цирковой лошади, с этим ложным жестом, с хвостом, упирающимся в стену исторического музея. Бездарно, кощунственно, это редчайший случай, к которому мне трудно привыкнуть и который я бы снес. Тем более, что в Свердловске скульптор Брумберг поставил замечательный памятник Жукову.

Ну и в заключение несколько слов о Лужкове — этот химик, умеющий проникать во все, давший талантливым людям возможность свой талант проявить. Это — штука, но штука, которая меня устраивает.

Меня русская вольница
не привлекает, потому что
я — государственный

новить, а восстанавливать нечего, потому что должно родиться новое. А для этого нужно удобить почву несколькими поколениями. Идет ностальгия по Советскому Союзу, что мне очень близко и мило, по партии и бюрократии, что мне не близко и не мило, по великой литературе — это мне тоже близко. Весь этот литературный хаос сейчас — это бесперспективно, должно родиться что-то совершенно новое. Ниши заняты разбитыми постмодернистами: Ерофеевым («Русская красавица»), Пелевиным («Чапаев и пугач»), Соколовым («Голубое сабо»), их задачи абсолютно отрицательные. Но сегодня они — властители дум, поэтому литература, которая пытается наблюдать жизнь, задвинута куда-то, и — что печально — она вынуждена применять те же постмодернистские приемы, которые ей как корове седло, тем не менее многие писатели умело это делают. И потом к коровьему седлу или пришейкобильному хвосту — обязательная библийская реминисценция. После Булгакова читать это совершенно невозможно. Потому ренессанс хилый, что он неорганичен, что он лишь реакция на отсутствие большой литературы.

— Мне кажется, что театральное искусство сейчас опережает литературу...

нужно было найти деятеля, который согласился бы делать либеральную политику, имея нашу, исконно русскую физиономию, грубее сказать — морду, просящую кирпич. Ельцин и есть тот крутой русский мужик, нашинский, весь сотканный из нашей железной неповоротливости, непобедимой нашей хитрой дури, который и должен был «приобщать» Россию. И он сумел это сделать в русском образе: ленивый, крутой, не дурак выпить, никого не казнил, но не дал злым людям повернуть руль обратно, то есть он — лучший русский человек в этой ситуации. Его эпоха полна противоречий, а я к ней отношусь так: спасибо, что он так сделал, и слава Богу, что все это кончилось.

— Ну а теперь год во главе страны стоит «настоящий полковник». Что от него ждать, как вы считаете?

— Меня совершенно не интересует, что он из КГБ — откуда могут прийти замечательно умные люди, намного умнее, чем из парторганизации. Жандармы всегда были наголову умнее прочих российских чиновников, потому что у них работа была жуткая. Но интеллигенция визжит: ах, нас завтра будут убивать... Вас будут убивать, потому что вы сами делаете так, что вас будут убивать. Все подобного рода расклады на меня не действуют, я